

10 класс

Выполните *аналитическое задание* (с опорой на предложенные направления для анализа; время выполнения – 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70) и *творческое задание* (время выполнения – 1,5 астрономических часа, максимальный балл – 30).

Максимальный общий балл за работу – 100 баллов (аналитическое задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).

1. Аналитическое задание

Проведите целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического.

Выполните целостный анализ произведения. Обратите внимание на следующие особенности его содержания и формы/поэтики: смысл названия стихотворения, двойственность лирического героя, функции паронимов «ностальгия», «настоятель», «настоявшаяся», «настанет»; неологизмов («пластик», «мафия»), церковных слов («рубщица», «к господу», «послушник»), просторечий («в рожу», «идиоты»), идеологического жаргона эпохи («тирады подленькие», «оступившийся товарищ»), метонимии («Но прикусываю как тайну ностальгию по настоящему, что настанет»); особенности рифмы.

А.А. Вознесенский.

Ностальгия по настоящему

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколлет.
Но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто-то тебя отнимает.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Все из пластика, даже рублища.
Надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет рыжая, настоявшаяся,
хлещет ржавая вода из крана.
Я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по-настоящему.
Что настанет. Да не застану.
1976

ИЛИ

Выполните целостный анализ произведения Л.Н. Андреева «Гостинец».
Обратите внимание на следующие особенности его содержания и формы/поэтики: смысл названия, приём контраста в изображении героев, особенности их психологических портретов; функции образов природы, светлого праздника Пасхи и сравнения в финале рассказа.

Л. Н. Андреев

Гостинец

I

– Так ты приходи! – в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

– Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству – Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо: Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, так же решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то от утешения:

– Такие вот дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

Ну, ступай. А то он бранить будет.

– Это верно, – обрадовался Сазонка предлогу. – Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь – и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот, черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

– Ты, Семен... Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Верить мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

– Верю.

– Вот! – торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

– А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженная.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гре-

бенкой, подымались пышно и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

– Ну, прощевай! – сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощевай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

– Прощай! – сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслиями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной ладонью, подержал их и со вздохом отпустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

– Так приходи же, – в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его – очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

– Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

– Милый! Да разве мы не люди?

II

Подходила Пасха и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, жмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на него обрезками материй и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная еще слабосильная муха и проносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и

блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках: на противоположной, уже просохшей стороне играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучал и задором и свежестью. Езды по улице, находящейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

Ну-ка, дай ударить, – просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили:

– За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

– А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

– Надобно ему гостинца отнести. Вот уж отнесу, – продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок подергивал одной рукой штанишки – другая держала в подоле рубахи бабки – и серьезно советовал:

– Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и, когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин – и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица;

но каемчатый платок, который еще нужно купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

– Уж так нужно, – твердил он. – Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость была в нем, а суровый укор и грозное предостережение.

III

И на первый день Пасхи и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе, – в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно, с запекшимися губами и просящим взглядом.

– Милый, да разве? Ах, господи! – говорил Сазонка и крупно надбавлял шаг.

Вот и больница – желтое, громадное здание, с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты...

Но где же сам Сениста?

– Вам кого? – спросила вошедшая следом сиделка.

– Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте. – Сазонка указал пальцем на пустую постель.

– Так нужно допрежде спрашивать, а то ломится зря, – грубо сказала сиделка. – И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

– Ерофеев – это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, – объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

– Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По нашему – Семен Пустошкин. Помер, говорю.

– Вот как-с! – благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. – Когда же-с?

– Вчера после вечерен.

– А мне можно!.. – запинаясь, попросил Сазонка.

– Отчего нельзя? – равнодушно ответила сиделка. – Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволий он был, не жилец.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указанном направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна – кап! – и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

– Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

– Прости меня, Семен Ерофеич, – так же отдельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали – тихо, нежно.

IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и напрямик по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парине, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства, огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымились вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку – под неё попало что-то твердое, обернутое материей.

Гостинец.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

– Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел – глядел – глядел не отрываясь, – и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок – и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый – как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше – и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возродился бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

– Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю – и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековая мать, земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.

1901 г.

2. Творческое задание

Социальная разобщенность, утрата классических ценностных ориентиров стали реальной угрозой культурной самобытности России. Нам необходимы точки опоры, духовные, нравственные. Попытки найти их обращают нас к творческому наследию российского филолога, культуролога, искусствоведа, академика РАН Д.С. Лихачева.

В статье «Письма о добром и прекрасном» учёный отмечал: «Каждый человек обязан (я подчеркиваю – обязан) заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной (но, разумеется, не единственный) способ своего интеллектуального развития – чтение».

Какова была бы ваша позиция в дискуссии о чтении как обязанности перед обществом? С кем из ее участников вы бы согласились, а кому возразили? По каким именно аспектам? Сформулируйте тему, на которую вам было бы по-настоящему интересно писать о русской литературе. Запишите свое «выступление» в дискуссии в рамках Лихачёвских чтений.